

Ашик-Кериб

Турецкая сказка

Давно тому назад, в городе Тифлизе, жил один богатый турок; много аллах дал ему золота, но дороже золота была ему единственная дочь Магуль-Мегери; хороши звёзды на небеси, но за звёздами живут ангелы, и они ещё лучше, так и Магуль-Мегери была лучше всех девушек Тифлиза. Был также в Тифлизе бедный Ашик-Кериб; пророк не дал ему ничего, кроме высокого сердца и дара песен; играя на саазе (балалайка турецкая) и прославляя древних витязей Туркестана, ходил он по свадьбам увеселять богатых и счастливых; на одной свадьбе он увидал Магуль-Мегери, и они полюбили друг друга. Мало было надежды у бедного Ашик-Кериба получить её руку — и он стал грустен, как зимнее небо.

Вот раз он лежал в саду под виноградником и, наконец, заснул; в это время шла мимо Магуль-Мегери с своими подругами; и одна из них, увидав спящего ашика (балалаечник), отстала и подошла к нему: «Что ты спишь под виноградником, — запела она, — вставай, безумный, твоя газель идёт мимо»; он проснулся — девушка порхнула прочь, как птичка;

Магуль-Мегери слышала её песню и стала её бранить. «Если б ты знала, — отвечала та, — кому я пела эту песню, ты бы меня поблагодарила: это твой Ашик-Кериб». — «Веди меня к нему», — сказала Магуль-Мегери; и они пошли. Увидав его печальное лицо, Магуль-Мегери стала его спрашивать и утешать. «Как мне не грустить, — отвечал Ашик-Кериб, — я тебя люблю, — и ты никогда не будешь моею». — «Проси мою руку у отца моего, — говорила она, — и отец мой сыграет нашу свадьбу на свои деньги и наградит меня столько, что нам вдвоём достанет». — «Хорошо, — отвечал он, — положим, Аяк-Ага ничего не пожалеет для своей дочери; но кто знает, что после ты не будешь меня упрекать в том, что я ничего не имел и тебе всем обязан; нет, милая Магуль-Мегери, я положил зарок на свою душу: обещаюсь семь лет странствовать по свету и нажить себе богатство либо погибнуть в дальних пустынях; если ты согласна на это, то по истечении срока будешь моею». Она согласилась, но прибавила, что если в назначенный день он не вернётся, то она сделается женою Куршудбека, который давно уж за неё сватается.

Пришёл Ашик-Кериб к своей матери, взял на дорогу её благословение, поцеловал маленькую сестру, повесил через плечо сумку, опёрся на посох странничий и вышел из города Тифлиза. И вот догоняет его всадник, — он смотрит — это Куршуд-бек. «Добрый путь, — кричал ему бек, — куда бы ты ни шёл, странник, я твой товарищ»; не рад был Ашик своему товарищу, но нечего делать; долго они шли вместе, наконец завидели перед собою реку. Ни моста,

ни броду. «Плыви вперёд, — сказал Куршудбек, — я за тобою последую». Ашик сбросил верхнее платье и поплыл; переправившись, глядь назад — о горе! о всемогущий аллах! Куршудбек, взяв его одежды, ускакал обратно в Тифлиз, только пыль вилась за ним змеёю по гладкому полю. Прискакав в Тифлиз, несёт бек платье Ашик-Кериба к его старой матери. «Твой сын утонул в глубокой реке, — говорит он, — вот его одежда». В невыразимой тоске упала мать на одежды любимого сына и стала обливать их жаркими слезами; потом взяла их и понесла к наречённой невестке своей, Магуль-Мегери. «Мой сын утонул, — сказала она ей, — Куршудбек привёз его одежды; ты свободна». Магуль-Мегери улыбнулась и отвечала: «Не верь, это всё выдумки Куршудбека; прежде истечения семи лет никто не будет моим мужем», — она взяла со стены свою сааз и спокойно начала петь любимую песню бедного Ашик-Кериба.

Между тем странник пришёл бос и наг в одну деревню; добрые люди одели его и накормили; он за то пел им чудные песни; таким образом переходил он из деревни в деревню, из города в город; и слава его разнеслась повсюду. Прибыл он, наконец, в Халаф; по обыкновению, взошёл в кофейный дом, спросил сааз и стал петь. В это время жил в Халафе паша, большой охотник до песельников; многих к нему приводили — ни один ему не понравился; его чауши¹ измучились, бегая по городу;

¹ Чауши — в Турции судебные рассыльные и судебные приставы.

вдруг, проходя мимо кофейного дома, слышат удивительный голос; они туда. «Иди с нами к великому паше, — закричали они, — или ты отвечаешь нам головою». — «Я человек вольный, странник из города Тифлиза, — говорит Ашик-Кериб, — хочу пойду, хочу нет; пою когда придётся, и ваш паша мне не начальник». Однако, несмотря на то, его схватили и привели к паше. «Пой», — сказал паша, и он запел. И в этой песне он славил свою дорогую Магуль-Мегери; и эта песня так понравилась гордому паше, что он оставил у себя бедного Ашик-Кериба. Посыпалось к нему серебро и золото, заблистали на нём богатые одежды; счастливо и весело стал жить Ашик-Кериб и сделался очень богат; забыл он свою Магуль-Мегери или нет, не знаю, только срок истекал, последний год скоро должен был кончиться, а он и не готовился к отъезду. Прекрасная Магуль-Мегери стала отчаиваться; в это время отправляется один купец с керваном из Тифлиза с сорока верблюдами и восемьюдесятью невольниками; призывает она купца к себе и даёт ему золотое блюдо. «Возьми ты это блюдо, — говорит она, — и в какой бы ты город ни приехал, выставь это блюдо в своей лавке и объяви везде, что тот, кто признается моему блюду хозяином и докажет это, получит его и вдобавок вес его золотом». Отправился купец, везде исполнял поручение Магуль-Мегери, но никто не признался хозяином золотому блюду. Уж он продал почти все свои товары и приехал с остальными в Халаф. Объявил он везде поручение Магуль-Мегери. Услыхав это, Ашик-Кериб прибегает в караван-сарай — и видит

золотое блюдо в лавке тифлизского купца. «Это моё», — сказал он, схватив его рукою. «Точно твоё», — сказал купец, — я узнал тебя, Ашик-Кериб; ступай же скорее в Тифлиз, твоя Магуль-Мегери велела тебе сказать, что срок истекает, и если ты не будешь в назначенный день, то она выйдет за другого». В отчаянии Ашик-Кериб схватил себя за голову: оставалось только три дни до рокового часа. Однако он сел на коня, взял с собою суму с золотыми монетами и поскакал, не жалея коня; наконец, измученный бегун упал бездыханный на Арзинган-горе, что между Арзиньяном и Арзерумом. Что ему было делать: от Арзиньяна до Тифлиза два месяца езды, а оставалось только два дни. «Аллах всемогущий, — воскликнул он, — если ты уж мне не помогаешь, то мне нечего на земле делать», — и хочет он броситься с высокого утёса; вдруг видит внизу человека на белом коне и слышит громкий голос: «Оглан, что ты хочешь делать?» — «Хочу умереть», — отвечал Ашик. «Слезай же сюда, если так, я тебя убью». Ашик спустился кое-как с утёса. «Ступай за мною», — сказал грозно всадник. «Как я могу за тобою следовать, — отвечал Ашик, — твой конь летит, как ветер, а я отягощён сумою». — «Правда; повесь же суму свою на седло моё и следуй». Отстал Ашик-Кериб, как ни старался бежать. «Что ж ты отстаёшь?» — спросил всадник. «Как же я могу следовать за тобою, твой конь быстрее мысли, а я уж измучен». — «Правда, садись же сзади на коня моего и говори всю правду, куда тебе нужно ехать». — «Хоть бы в Арзерум поспеть нонче», — отвечал Ашик. «Закрой же глаза»; он

закрыл. «Теперь открой». Смотрит Ашик: перед ним белеют стены и блещут минареты Арзрума. «Виноват, Ага, — сказал Ашик, — я ошибся, я хотел сказать, что мне надо в Карс». — «То-то же, — отвечал всадник, — я предупредил тебя, чтобы ты говорил мне сущую правду; закрой же опять глаза, — теперь открой». Ашик себе не верит — то, что это Карс. Он упал на колени и сказал: «Виноват, Ага, трижды виноват твой слуга Ашик-Кериб, но ты сам знаешь, что если человек решился лгать с утра, то должен лгать до конца дня; мне по-настоящему надо в Тифлиз». — «Экой ты, неверный, — сказал сердито всадник, — но, нечего делать, прощаю тебе: закрой же глаза. Теперь открой», — прибавил он по прошествии минуты. Ашик вскрикнул от радости: они были у ворот Тифлиза. Принеся искреннюю свою благодарность и взяв свою суму с седла, Ашик-Кериб сказал всаднику: «Ага, конечно, благодеяние твоё велико, но сделай ещё больше; если я теперь буду рассказывать, что в один день поспел из Арзиньяна в Тифлиз, мне никто не поверит; дай мне какое-нибудь доказательство». — «Наклонись, — сказал тот, улыбувшись, — и возьми из-под копыта коня комок земли и положи себе за пазуху; и тогда если не станут верить истине слов твоих, то вели к себе привести слепую, которая семь лет уж в этом положении, помажь ей глаза — и она увидит». Ашик взял кусок земли из-под копыта белого коня, но только он поднял голову, всадник и конь исчезли; тогда он убедился в душе, что его покровитель был не кто иной, как Хадерилиаз (св. Георгий).

Только поздно вечером Ашик-Кериб отыскал дом свой; стучит он в двери дрожащею рукою, говоря: «Ана, ана (мать), отвори: я божий гость, я холоден и голоден; прошу, ради странствующего твоего сына,пусти меня». Слабый голос старухи отвечал ему: «Для ночлега путников есть дома богатых и сильных, есть теперь в городе свадьбы — ступай туда; там можешь провести ночь в удовольствии». — «Ана, — отвечал он, — я здесь никого знакомых не имею и потому повторяю мою просьбу: ради странствующего твоего сынапусти меня». Тогда сестра его говорит матери: «Мать, я встану и отворю ему двери». — «Негодная, — отвечала старуха, — ты рада принимать молодых людей и угощать их, потому что вот уже семь лет, как я от слёз потеряла зрение». Но дочь, не внимая её упрекам, встала, отперла двери ипустила Ашик-Кериба: сказав обычное приветствие, он сел и с тайным волнением стал осматриваться: и видит он — на стене висит в пыльном чехле его сладкозвучный сааз. И стал он спрашивать у матери: «Что висит у тебя на стене?» — «Любопытный ты гость, — отвечала она, — будет и того, что тебе дадут кусок хлеба и завтра отпустят тебя с богом». — «Я уж сказал тебе, — возразил он, — что ты моя родная мать, а это сестра моя, и потому прошу объяснить мне, что это висит на стене?» — «Это сааз, сааз», — отвечала старуха сердито, не веря ему. «А что значит сааз?» — «Сааз то значит, что на нём играют и поют песни». И просит Ашик-Кериб, чтоб она позволила сестре снять сааз и показать ему. «Нельзя, — отвечала старуха, — это

сааз моего несчастного сына, вот уже семь лет он висит на стене и ничья живая рука до него не дотрагивалась». Но сестра его встала, сняла со стены сааз и отдала ему; тогда он поднял глаза к небу и сотворил такую молитву: «О! всемогущий аллах! если я должен достигнуть до желаемой цели, то моя семиструнная сааз будет так же стройна, как в тот день, когда я в последний раз играл на ней». И он ударил по медным струнам, и струны согласно заговорили; и он начал петь: «Я бедный Кериб (нищий) — и слова мои бедны; но великий Хадерилияз помог мне спуститься с крутого утёса, хотя я беден и бедны слова мои. Узнай меня, мать, своего странника». После этого мать его зарыдала и спрашивает его: «Как тебя зовут?» — «Рашид» (храбрый), — отвечал он. «Раз говори, другой раз слушай, Рашид, — сказала она, — своими речами ты изрезал сердце моё в куски. Нынешнюю ночь я во сне видела, что на голове моей волосы побелели, а вот уж семь лет я ослепла от слёз; скажи мне ты, который имеешь его голос, когда мой сын придёт?» — И дважды со слезами она повторила ему просьбу. Напрасно он называл себя её сыном, но она не верила, и спустя несколько времени просит он: «Позволь мне, матушка, взять сааз и идти, я слышал, здесь близко есть свадьба: сестра меня проводит; я буду петь и играть, и всё, что получу, принесу сюда и разделю с вами». — «Не позволю, — отвечала старуха, — с тех пор как нет моего сына, его сааз не выходил из дому». Но он стал клясться, что не повредит ни одной струны, — «а если хоть одна

струна порвётся, — продолжал Ашик, — то отвечаю моим имуществом». Старуха оцупала его сумы и, узнав, что они наполнены монетами, отпустила его; проводив его до богатого дома, где шумел свадебный пир, сестра осталась у дверей слушать, что будет.

В этом доме жила Магуль-Мегери, и в эту ночь она должна была сделаться женою Куршуд-бека. Куршуд-бек пировал с родными и друзьями, а Магуль-Мегери, сидя за богатою чапрой (занавес) с своими подругами, держала в одной руке чашу с ядом, а в другой острый кинжал: она поклялась умереть прежде, чем опустит голову на ложе Куршуд-бека. И слышит она из-за чапры, что пришёл незнакомец, который говорил: «Селям алейкюм: вы здесь веселитесь и пируете, так позвольте мне, бедному страннику, сесть с вами, и за то я спою вам песню». — «Почему же нет, — сказал Куршуд-бек. — Сюда должны быть впускаемы песельники и плясуны, потому что здесь свадьба: спой же что-нибудь, Ашик (певец), и я отпущу тебя с полной горстью золота».

Тогда Куршуд-бек спросил его: «А как тебя зовут, путник?» — «Шинды Гёрурсез (скоро узнаете)». — «Что это за имя, — воскликнул тот со смехом. — Я первый раз такое слышу!» — «Когда мать моя была мною беременна и мучилась родами, то многие соседи приходили к дверям спрашивать, сына или дочь бог ей дал: им отвечали — шинды-гёрурсез (скоро узнаете). И вот поэтому, когда я родился, мне дали это имя». — После этого он взял сааз и начал петь:

«В городе Халафе я пил мисирское вино, но бог мне дал крылья, и я прилетел сюда в день».

Брат Куршуд-бека, человек малоумный, выхватил кинжал, воскликнув: «Ты лжёшь; как можно из Халафа приехать сюда в день?»

«За что ж ты меня хочешь убить, — сказал Ашик, — певцов обыкновенно со всех четырёх сторон собирают в одно место; и я с вас ничего не беру, верьте мне или не верьте».

«Пускай продолжает», — сказал жених, и Ашик-Кериб запел снова:

«Утренний намаз творил я в Арзиньянской долине, полуденный намаз в городе Арзруме; пред захождением солнца творил намаз в городе Карсе, а вечерний намаз в Тифлизе. Аллах дал мне крылья, и я прилетел сюда; дай бог, чтоб я стал жертвою белого коня, он скакал быстро, как плясун по канату, с горы в ущелья, из ущелья на гору: Маулям (создатель) дал Ашику крылья, и он прилетел на свадьбу Магуль-Мегери».

Тогда Магуль-Мегери, узнав его голос, бросила яд в одну сторону, а кинжал в другую. «Так-то ты сдержала свою клятву, — сказали её подруги, — стало быть, сегодня ночью ты будешь женою Куршуд-бека». — «Вы не узнали, а я узнала милый мне голос», — отвечала Магуль-Мегери; и, взяв ножницы, она прорезала чапру. Когда же посмотрела и точно узнала своего Ашик-Кериба, то вскрикнула, бросилась к нему на шею, и оба упали без чувств. Брат Куршуд-бека бросился на них с кинжалом, намереваясь заколоть обоих, но Куршуд-бек оста-

новил его, примолвив: «Успокойся и знай: что написано у человека на лбу при его рождении, того он не минует».

Придя в чувства, Магуль-Мегери покраснела от стыда, закрыла лицо рукою и спряталась за чапру.

«Теперь точно видно, что ты Ашик-Кериб, — сказал жених, — но поведай, как же ты мог в такое короткое время проехать такое великое пространство?» — «В доказательство истины, — отвечал Ашик, — сабля моя перерубит камень, если же я лгу, то да будет шея моя тоньше волоска; но лучше всего приведите мне слепую, которая бы семь лет уж не видала свету божьего, и я возвращу ей зрение». Сестра Ашик-Кериба, стоявшая у двери и услышав такую речь, побежала к матери. «Матушка! — закричала она, — это точно брат и точно твой сын Ашик-Кериб», — и, взяв её под руку, привела старуху на пир свадебный. Тогда Ашик взял комок земли из-за пазухи, развёл его водою и намазал матери глаза, промолвив: «Знайте все люди, как могущ и велик Хадрилияз», — и мать его прозрела. После этого никто не смел сомневаться в истине слов его, и Куршуд-бек уступил ему безмолвно прекрасную Магуль-Мегери. Тогда в радости Ашик-Кериб сказал ему: «Послушай, Куршуд-бек, я тебя утешу, сестра моя не хуже твоей прежней невесты, я богат: у ней будет не менее серебра и золота; итак, возьми её за себя — и будьте так же счастливы, как я с моей дорогою Магуль-Мегери».

Соловей

В Китае, как ты, наверное, знаешь, и сам император китаец, и все его подданные китайцы.

Давным-давно это было, но потому-то и стоит рассказать эту историю, пока она ещё не совсем позабыта.

Во всём мире не нашлось бы дворца лучше, чем у китайского императора. Он весь был из драгоценного фарфора, такого тонкого и хрупкого, что и дотронуться страшно. В саду росли диковинные цветы, и к самым лучшим из них были привязаны серебряные колокольчики. Они звенели, чтобы никто не прошёл мимо, не заметив цветов. Вот как хитро было придумано!

Сад тянулся далеко-далеко, так далеко, что и сам садовник не знал, где он кончается. За садом был чудесный лес с высокими деревьями и глубокими озёрами, и доходил он до самого синего моря. Большие корабли могли заплывать прямо под ветви, и здесь, у самого берега моря, жил соловей. Пел он так дивно, что его заслушивался даже бедный рыбак, у которого и без того дел хватало.

Со всех концов света приезжали в столицу императора путешественники; все они дивились дворцу и саду, но, услышав соловья, говорили: «Вот это лучше всего!» Вернувшись домой, они рассказывали об увиденном. Ученые описывали в книгах столицу, дворец и сад императора и никогда не забывали о со-

ловье — его хвалили особенно; поэты слагали чудесные стихи о соловье, живущем в лесу у синего моря.

Книги расходились по всему свету, и некоторые дошли до самого императора. Он сидел в своём золотом кресле, читал и каждую минуту кивал головой — очень уж приятно было читать похвалы своей столице, дворцу и саду. «Но соловей лучше всего!» — стояло в книге.

— Как! — сказал император. — Что за соловей? Ничего о таком не знаю! Неужто в моей империи, и даже в моём собственном саду, есть такая птица, а я о ней ничего не слышал? И вот приходится вычитывать такое из книг!

И он послал за своим первым министром. Тот был такой важный, что если кто-нибудь чином пониже осмеливался заговорить с ним или спросить о чём-либо, он отвечал только: «П!» — что ровно ничего не значит.

— Говорят, у нас есть замечательная птица по имени соловей, — сказал император. — Говорят, лучше её нет ничего в моём государстве. Почему мне ни разу о ней не докладывали?

— Никогда не слышал такого имени, — сказал министр. — Наверное, она не была представлена ко двору!..

— Желаю, чтобы она явилась во дворец и пела предо мной сегодня же вечером! — сказал император. — Весь свет знает, что у меня есть, а я не знаю!

— Никогда не слышал такого имени! — повторил министр. — Будем искать, разыщем!

А где её разыщешь?

Министр бегал вверх и вниз по лестницам, по залам и коридорам, но никто из придворных, к которым он обращался, ничего не слышал о соловье. Тогда министр снова прибежал к императору и заявил, что сочинители, верно, рассказывают сказки.

— Ваше императорское величество! Не верьте всему, что пишут в книгах! Всё это одни выдумки, так сказать, чёрная магия!

— Но ведь книга, в которой я прочёл о соловье, прислана мне могущественным императором Японии, в ней не может быть неправды! Хочу слышать соловья! Он должен быть здесь сегодня вечером! Объявляю ему моё высочайшее благоволение! А если его не будет, весь двор, как отужинает, будет бит палками по животу!

— Цзин-пе! — сказал первый министр и снова забегал вверх и вниз по лестницам, по залам и коридорам, а с ним вместе забегала и половина придворных — уж больно им не хотелось, чтобы их били палками по животу. И все лишь об одном и спрашивали: что это за соловей, которого весь свет знает и только при дворе никто не знает.

Наконец на кухне нашли одну бедную девочку. Она сказала:

— Господи! Как не знать соловья! Вот уж поёт-то! Мне позволено относить по вечерам моей бедной больной матушке остатки от обеда. Живёт она у самого моря. И вот когда на обратном пути я устану и присяду отдохнуть в лесу, я слушаю соловья. Слезы так и потекут

из глаз, а на душе-то так радостно, словно матушка целует меня!

— Девочка, — сказал министр, — я зачислю вас на должность при кухне и исплопочу вам позволение посмотреть, как кушает император, если вы проведёте нас к соловью. Он приглашён сегодня вечером к императору!

И вот все отправились в лес, в котором жил соловей. Шли они, шли, как вдруг замычала корова.

— О! — сказал камер-юнкер. — Вот он! Какая, однако, сила у такого маленького создания! Мне определённо уже доводилось слышать его!

— Нет, это корова мычит! — отвечала маленькая кухарка. — А нам ещё далеко идти!

Вот в пруду заквакали лягушки.

— Восхитительно! Восхитительно! — сказал придворный священник. — Теперь я его слышу! Точь-в-точь как малые колокола!

— Нет, это лягушки! — отвечала маленькая кухарка. — Но теперь, пожалуй, скоро услышим и его!

И вот запел соловей.

— Вот он! — сказала девочка. — Слушайте! Слушайте! А вон и он сам!

И она указала на серенькую птичку среди ветвей.

— Возможно ли! — сказал министр. — Никак не воображал его себе таким! Уж больно простоват на вид! Верно, он стусевался при виде стольких знатных особ.

— Соловушка! — громко крикнула девочка. — Наш милостивый император хочет, чтобы ты ему спел!

— С величайшим удовольствием! — отвечал соловей и запел так, что любо-дорого было слушать.

— Совсем как стеклянные колокольчики! — сказал министр. — Смотрите, как он старается горлышком! Просто удивительно, что мы не слышали его раньше! Он будет иметь огромный успех при дворе!

— Спеть ли мне ещё для императора? — спросил соловей. Он думал, что император был тут.

— Мой несравненный соловушка! — сказал министр. — Имею приятную честь пригласить вас на имеющий быть сегодня придворный праздник. Не сомневаюсь, что вы очаруете его императорское величество своим восхитительным пением!

— Меня лучше всего слушать в лесу! — сказал соловей, но всё же охотно подчинился воле императора и последовал за придворными.

А дворец-то как украшали! Фарфоровые стены и пол сверкали тысячами золотых фонариков, в проходах были выставлены самые лучшие цветы с колокольчиками. Беготни и сквозняку было куда как много, но все колокольчики звенели так, что ничего не было слышно.

Посреди огромного зала, где сидел император, установили золотой шест для соловья. Весь двор был в сборе, а маленькой кухарке дозволили стать в дверях — ведь она уже была в звании придворной поварихи. Все надели свои лучшие наряды, и все глядели на

маленькую серую птичку, а император кивнул ей головой.

И соловей запел так дивно, что у императора слёзы набежали на глаза, и тогда ещё краше запел соловей, и песнь его хватала за сердце. Император был очень доволен и хотел пожаловать соловью свою золотую туплю на шею. Но соловей с благодарностью отказался:

— Я видел на глазах императора слёзы, и для меня нет ничего драгоценнее! Слёзы императора — это ведь настоящее чудо! Я награждён с избытком!

И он вновь запел своим дивным, сладостным голосом.

— Ах, очаровательнее кокетства и помыслить нельзя! — говорили придворные дамы и стали набирать в рот воды, чтобы булькать, когда с ними кто-нибудь заговорит. Им казалось, что тогда они сами будут похожи на соловья. Даже слуги и служанки объявили, что они довольны, а ведь это немало — угодить им труднее всего. Да, соловей положительно имел успех.

Его определили при дворе, отвели ему собственную клетку и разрешили гулять два раза днём и один раз ночью. К нему приставили двенадцать слуг, и каждый держал его за привязанную к лапке шёлковую ленточку. И прогулка была ему не в прогулку.

Весь город говорил об удивительной птице, и когда двое знакомых встречались, один сейчас же говорил: «соло», а другой доканчивал: «вей!» — и оба вздыхали, поняв друг друга.

А ещё именем соловья были названы одиннадцать сыновей мелочных торговцев, хотя всем им слон на ухо наступил.

И вот однажды императору пришёл большой пакет с надписью: «Соловей».

— Не иначе как ещё одна книга о нашей знаменитой птице, — сказал император.

Но это была не книга, а шкатулка с затейливой штучкой — искусственным соловьём. Он был совсем как настоящий и весь отделан алмазами, рубинами и сапфирами. Заведёшь его — и он мог спеть песню настоящего соловья, и его хвост при этом так и ходил вверх и вниз, отливая золотом и серебром. На шее у него была ленточка с надписью: «Соловей императора Японии ничто по сравнению с соловьём императора китайского».

— Какая прелесть! — сказали все в один голос, и того, кто принёс искусственного соловья, тотчас утвердили в звании «обер-поставщика соловьёв его величества».

— Теперь пусть-ка споют вместе, интересно, выйдет у них дуэт?

И им пришлось спеть вместе, но дело на лад не пошло: настоящий соловей пел по-своему, а искусственный — как шарманка.

— Он не виноват, — сказал придворный капельмейстер. — Он отлично выдерживает такт и поёт строго по моей методе!

И вот искусственного соловья заставили петь одного. Он имел не меньший успех, чем настоящий, но был куда красивее, весь так и сверкал драгоценностями!

Тридцать три раза пропел он одно и то же и не устал. Все были не прочь послушать его

ещё раз, да тут император сказал, что теперь должен спеть немного и настоящий соловей.

Но куда же он делся? Никто и не заметил, как он выпорхнул в открытое окно и улетел в свой зелёный лес.

— Что же это такое? — сказал император, и все придворные возмутились и назвали соловья неблагоприятным.

— Всё равно тот соловей, что остался у нас, лучше, — сказали они, и искусственному соловью пришлось петь опять, и все в тридцать четвёртый раз услышали одну и ту же песенку. Однако придворные так и не запомнили её наизусть, такая она была трудная. А капельмейстер знай нахваливал искусственного соловья и утверждал даже, что он лучше настоящего не только нарядом и чудесными алмазами, но и внутренним своим складом.

— Извольте видеть, ваше величество, и вы, господа, про живого соловья никогда нельзя знать наперёд, что он споёт, а про искусственного можно! Именно так, и не иначе! В искусственном соловье всё можно понять, его можно разобрать и показать человеческому уму, как расположены валики, как они вертятся, как одно следует из другого!..

— И я тоже так думаю! — в голос сказали все, и капельмейстер получил разрешение в следующее же воскресенье показать искусственного соловья народу.

— Пусть и народ послушает его! — сказал император.

И народ слушал и остался очень доволен, как будто вдоволь напился чаю — это ведь так

по-китайски. И все говорили: «О!» — и поднимали в знак одобрения палец, и кивали головами. Только бедные рыбаки, слышавшие настоящего соловья, говорили:

— Недурно и очень похоже, да вот чего-то недостаёт, сами не знаем чего.

Настоящего соловья объявили изгнанным из пределов страны, а искусственный занял место на шёлковой подушке у постели императора. Вокруг него лежали преподнесённые ему подарки, а сам он был возведён в звание «певца ночного столика его императорского величества номер один слева», потому что самым почётным император считал место, где расположено сердце, а сердце расположено слева даже у императоров. А капельмейстер написал об искусственном соловье учёный труд в двадцати пяти томах, полный самых трудных китайских слов, и придворные говорили, что прочли и поняли его, не то они показали бы себя дураками и были бы биты палками по животу.

Так прошёл год. Император, придворные и все прочие китайцы знали наизусть каждое коленце в песне искусственного соловья, но как раз поэтому он им и нравился. Теперь они и сами могли подпевать ему. «Ци-ци-ци! Клюк-клюкклюд!» — распевали уличные мальчишки, и то же самое напевал император. Ах, что за прелесть!

Но вот однажды вечером искусственный соловей пел во всю мочь, а император лежал в постели, слушая его, как вдруг внутри соловья что-то щёлкнуло, колёсики побежали впустую, и музыка смолкла.

Император сейчас же вскочил с постели и послал за своим лейб-медиком, но что тот мог поделывать? Призвали часовщика, и после длинных разговоров и долгих осмотров он кое-как подправил соловья, но сказал, что его надо поберечь, потому как шестерёнки поистерлись, а поставить новые, так чтобы музыка шла по-прежнему, невозможно. Ах, какое это было огорчение! Теперь соловья заводили только раз в год, и даже это казалось чересчур. А капельмейстер произнёс краткую речь, полную всяких умных слов, — дескать, всё по-прежнему хорошо. Ну, значит, так оно и было.

Прошло пять лет, и страну постигло большое горе: все так любили императора, а он, как говорили, заболел, и жить ему осталось недолго. Уже подобрали и нового императора. На улице стоял народ и спрашивал первого министра, что с их прежним повелителем.

— П! — только и отвечал министр и покачивал головой.

Бледный и похолодевший лежал император на своём пышном ложе. Все придворные решили, что он уже умер, и каждый спешил на поклон к новому владыке. Слуги выбегали из дворца поболтать об этом, а служанки приглашали к себе гостей на чашку кофе. По всем залам и проходам расстелили ковры, чтобы не слышно было шума шагов, и всюду было так тихо, так тихо... Только император ещё не умер. Закоченевший и бледный лежал он на пышном ложе под бархатным балдахином с тяжёлыми золотыми кистями. А с высоты в от-

крытое окно светила на императора и искусственного соловья луна.

Бедняга император дышал с трудом, и казалось ему, будто на груди у него кто-то сидит. Он открыл глаза и увидел, что на груди у него сидит Смерть. Она надела его золотую корону и держала в одной руке его золотую саблю, в другой — его славное знамя. А вокруг из складок бархатного балдахина выглядывали диковинные лица, одни гадкие и мерзкие, другие добрые и милые: это смотрели на императора все его злые и добрые дела, ведь на груди у него сидела Смерть.

— Помнишь? — шептали они одно за другим. — Помнишь? — И рассказывали ему столько, что на лбу у него выступил пот.

— Я об этом никогда не знал! — говорил император. — Музыка мне, музыки, большой китайский барабан! — кричал он. — Не хочу слышать их речей!

А они продолжали, и Смерть, как китаец, кивала головой на всё, что они говорили.

— Музыка мне, музыки! — кричал император. — Пой хоть ты, милая золотая птичка, пой! Я одарил тебя золотом и драгоценностями, я собственноручно повесил тебе на шею свою золотую туфлю, пой же, пой!

Но искусственный соловей молчал — некому было завести его, а иначе он петь не мог. А Смерть всё смотрела и смотрела на императора своими большими пустыми глазницами, и было так тихо, страшно тихо...

И вдруг раздалось чудесное пение. Это пел живой соловей. Он сидел за окном на ветке,

он прослышал про болезнь императора и прилетел утешить и ободрить его своей песней. Он пел, и призраки всё бледнели, кровь всё убыстряла свой бег в слабом теле императора, и даже сама Смерть слушала соловья и повторяла:

— Пой, соловушка, пой ещё!

— А ты отдашь мне золотую саблю? И славное знамя? И корону?

И Смерть отдавала одну драгоценность за другой, а соловей всё пел. Он пел о тихом кладбище, где цветут белые розы, благоухает сирень и свежая трава увлажняется слезами живых. И Смерть охватила такая тоска по своему саду, что она холодным белым туманом выплыла из окна.

— Спасибо, спасибо, чудесная птичка! — сказал император. — Я не забыл тебя! Я изгнал тебя из страны, но ты всё же отогнала от моей постели ужасные призраки, согнала с моей груди Смерть. Как мне наградить тебя?

— Ты уже вознаградил меня! Я исторг у тебя слёзы в первый раз, когда пел перед тобой, — этого я никогда не забуду! Нет награды дороже для сердца певца. Ну а теперь спи и просыпайся здоровым и бодрым! Я спою для тебя.

И он запел, и император заснул сладким сном. Ах, какой спокойный и благотворный был этот сон!

Когда он проснулся, в окно уже светило солнце. Никто из слуг не заглядывал к нему, все думали, что он умер. Один соловей сидел у окна и пел.

— Ты должен остаться со мной навсегда! — сказал император. — Будешь петь, только когда сам захочешь, а искусственного соловья я разобью вдребезги.

— Не надо! — сказал соловей. — Он сделал всё, что мог. Пусть остаётся у тебя. Я не могу жить во дворце, позволь лишь прилетать к тебе, когда захочу. Тогда я буду садиться вечером у твоего окна и петь тебе, и моя песнь порадует тебя и заставит задуматься. Я буду петь о счастливых и несчастных, о добре и зле, укрытых от твоих глаз. Певчая птичка летает повсюду, навевается и к бедному рыбаку, и к крестьянину — ко всем, кто живёт далеко от тебя и твоего двора. Я люблю тебя за твоё сердце больше, чем за корону. Я буду прилетать и петь тебе! Но обещаю тебе одно...

— Всё что угодно! — сказал император и встал во всём своём царственном убранстве — он сам облёкся в него, а к груди он прижимал свою тяжёлую золотую саблю.

— Об одном прошу я тебя: не говори никому, что у тебя есть маленькая птичка, которая рассказывает тебе обо всём. Так дело пойдёт лучше.

И соловей улетел.

Слуги вошли поглядеть на мёртвого императора — и застыли на пороге, а император сказал им:

— С добрым утром!

Спящая царевна

Жил-был добрый царь Матвей;
Жил с царицею своею
Он в согласье много лет;
А детей всё нет как нет.
Раз царица на лугу,
На зелёном берегу
Ручейка была одна;
Горько плакала она.
Вдруг, глядит,
Ползёт к ней рак;
Он сказал царице так:
«Мне тебя, царица, жаль;
Но забудь свою печаль;
Понесёшь ты в эту ночь:
У тебя родится дочь». —
«Благодарствуй, добрый рак;
Не ждала тебя никак...»
Но уж рак уполз в ручей,
Не слыхав её речей.
Он, конечно, был пророк;
Что сказал — сбылося в срок:
Дочь царица родила.
Дочь прекрасна так была,
Что ни в сказке рассказать,
Ни пером не описать.
Вот царём Матвеем пир
Знатный дан на целый мир;
И на пир весёлый тот
Царь одиннадцать зовёт

Чародеек молодых;
Было ж всех двенадцать их;
Но двенадцатой одной,
Хромоногой, старой, злой,
Царь на праздник не позвал.
Отчего ж так оплошал
Наш разумный царь Матвей?
Было то обидно ей.
Так! но есть причина тут:
У царя двенадцать блюд,
Драгоценных, золотых,
Было в царских кладовых;
Приготовили обед,
А двенадцатого нет
(Кем украдено оно,
Знать об этом не дано).
«Что ж тут делать? — царь сказал. —
Так и быть!» — И не послал
Он на пир старуху звать.
Собирались пировать
Гостыи, званные царём;
Пили, ели, а потом
Хлебосольного царя
За приём благодаря,
Стали дочь его дарить:
«Будешь в золоте ходить;
Будешь чудо красоты;
Будешь всем на радость ты
Благонравна и тиха;
Дам красавца жениха
Я тебе, моё дитя;
Жизнь твоя пройдёт шутя
Меж знакомых и родных...»
Словом, десять молодых

Чародеек, одарив
Так дитя наперерыв,
Удалились; в свой черёд
И последняя идёт;
Но ещё она сказать
Не успела слова — глядь!
И незваная стоит
Над царевной и ворчит:
«На пиру я не была,
Но подарок принесла:
На шестнадцатом году
Повстречаешь ты беду;
В этом возрасте своём
Руку ты веретеном
Оцарапаешь, мой свет,
И умрёшь во цвете лет!»
Проворчавши так, тотчас
Ведьма скрылася из глаз;
Но оставшаяся там
Речь домолвила: «Не дам
Без пути ругаться ей
Над царевною моею;
Будет то не смерть, а сон;
Триста лет продлится он;
Срок назначенный пройдёт,
И царевна оживёт;
Будет долго в свете жить;
Будут внуки веселить
Вместе с нею мать, отца
До земного их конца».
Скрылася гостья. Царь грустит;
Он не ест, не пьёт, не спит:
Как от смерти дочь спасти?
И беду чтоб отвести,